

ТЕМНЫЕ РАССКАЗЫ



Sirin

Sirin

Темные рассказы

«Автор»

2026

Sirin

Темные рассказы / Sirin — «Автор», 2026

Тексты пишутся не по плану, а когда сами просятся. Здесь вы найдете короткие зарисовки и рассказы, и все они разные по длине и голосу, но об одном: о людях на грани, об усталости, что оседает в теле, о цене, которую платят не разом, а по капле.

Содержание

Не зверь	5
Угол	6
Розовая глупость	7
Денница	8
И они радовались	9
Штырь	11
Дар	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Sirin

Темные рассказы

Не зверь

Телевизор в той комнате был с ручкой вместо кнопок, и ручку заедало, так что девочка вставала на цыпочки и наваливалась на нее всем весом, обеими руками, и та проворачивалась с сухим щелчком через раз, а по экрану проносило то рябь, то чужие говорящие рты, то музыку без картинки, и она щелкала дальше, пока не наткнулась на муть в мелкой сыпи, где что-то темное тянуло по белому. Рука сама отпустила ручку, и девочка осталась стоять, как стояла, задрав голову к ящику.

Картинка была старая, дерганая, лица в ней не разобрать, и зверь в ней был не зверь, а темный комок с иголками, которого куда-то вело по белому. Белое заняло весь экран, ни земли под ним не видать, ни неба, одна пелена без дна, и комок в ней делался все меньше, тыкался туда-сюда, звал кого-то тонким дребезжащим голоском, а из белого не отвечали. Девочке было столько лет, что она еще путалась в пуговицах и застегивала косо, через одну. Она отступила от ящика, села на пол, к самому стеклу, обхватив колени, потому что колени были свои и теплые, а из ящика тянуло чужим и стылым, как из погребя, и чем дольше она глядела, тем яснее видела, что того, кого туда занесло, обратно не выводят.

А комок все звал свою лошадку, и лошадка не шла, и никто не шел, а потом он оступился, ухнул в воду и не потонул, что вышло бы понятно, а завис в ней с растопыренными лапами, серый на сером, и его понесло, ровно, без всплеска, тихо, в никуда. Девочка глядела на это с полу, и у нее под горлом набухло, туго и горячо, а слезы не шли, плакать было не про что, только вода эта была ей отчего-то знакома, будто ее саму в такую однажды опустят и доставать не полезут.

Угол

Хлеб зачерствел с краю, и он отламывал от середины, где мякиш еще шел, катал в пальцах серый комок и совал в рот. Жевал он этот комок дольше, чем вообще жуют хлеб, потому что проглотить надо тянуться за новым куском, а тянуться было тяжелее, чем сидеть с набитым ртом. Он и сидел. Понял он это не сегодня, а когда-то, может в тот день, когда телефон сдох и он не стал его заряжать. Тарелку набить можно доверху, а под ребрами от этого не убудет, только ляжет сверху мокрая тяжесть, как проглотил не еду, а тряпку из-под нее. Тарелку он не мыл. На третий день, а может и дольше, счет он бросил вместе с будильником. По краю подсохло бурое, там, где стекал соус в прошлый раз или в позапрошлый, и он в это бурое и смотрел, потому что глаза надо было куда-то деть, а больше некуда, стена перед ним, обои отстали углом и висят.

Вилка была липкая. Он облизал зубцы, не подумав, и почувствовал на языке вкус несвежего железа, но его не передернуло даже, потому что для того, чтобы передернуло, надо хоть немного себя жалеть, а он не жалел. Он просто отметил, что вилка липкая, и продолжил. За стеной пустили воду, долго, с напором. Он слушал, как она идет по трубе где-то в стене над ним, и, кроме этой воды и того, как он сам жует, в квартире не было ничего, и он поймал себя, что жует под воду, попадает в такт. Когда там наверху кран закрыли, он с этим попаданием остался один, и оказалось, лучше бы вода шла, потому что без нее слышно стало только челюсть, эту мокрую работу внутри головы, и он застыл с непрожеванным, держал, не глотал. А глаза упер в стену над плитой, туда, где обои отклеились и загнулись углом. Он их подклеить хотел, давно, тогда еще хотел чего-то, а теперь смотрел, как они загнуты.

Проглотил он не сразу, а когда проглотил, в горле встало, сухо. Взял кружку, там была вода со вчера, теплая, сверху затянуло пылью, и он выпил ее не разглядывая, лишь бы протолкнуть комок. Вода ушла, а то, что встало, не ушло.

Оставалось еще полтарелки. Он смотрел на эти полтарелки и считал, сколько там кусков, четыре, может пять, и знал, что съест, потому что бросить недоеденным было бы каким-никаким решением, а решать он разучился, разучился в том же порядке, в каком забывают как ходить после долгой болезни, сперва не хочется, потом не может, а потом уже и не помнишь, как это делалось. Рука сама тянется не к тому, что нужно, а к тому, что ближе лежит. Ближе лежал хлеб. Он отломил еще. Скатал шарик. И на середине пути ко рту рука встала, повисла. Он не донес. Держал этот шарик в воздухе, серый, мятый его пальцами, и смотрел на него так, будто тот мог ответить, зачем все это, зачем катать, зачем нести, зачем открывать рот. Рука дрожала не от слабости, есть он все-таки ел, а от того, что удерживать ее на весу оказалось единственным усилием за весь день, и это усилие он мог позволить себе не доводить до конца, потому что доводить было не для кого и незачем. Шарик он все-таки съел. Не оттого, что решил, а оттого, что рука опустилась сама, обратно, к столу было бы дальше, чем ко рту, и она пошла коротким путем.

Он жевал и смотрел в бурое на краю, и где-то между двумя кусками до него дошло, ровно, без всего того, что полагается к такой мысли, что завтра будет эта же тарелка, и вода в трубе у соседей, и он вот так же, и что дней впереди много, он не считал сколько, считать незачем, и каждый надо будет доест, потому что не есть — это уже что-то сделать, а сделать он ничего не мог, мог только поднести и опустить челюсть. И он поднес, опустил, потянул руку дальше.

Розовая глупость

Друг мой, я решительно погибла, и погибла самым прелестным и непростительным образом, какой только можно вообразить.

Есть шкатулка, и она вовсе не та черная, что я описывала тебе давеча в горячке. Нет, эта куда коварнее! Пузатенькая, на тонких кривых ножках, что подгибаются под нею так, будто она вот-вот присядет в реверансе да так и застынет, вся в золоченой резьбе, завитой до головокружения, а по округлым бокам ее пущены панели нежнейшего румяного цвета, розовые, точно щеки барышни, которую только что вывели в свет и которой от этого света уже сделалось дурно. Позолота местами облупилась, обнажая под собою что-то тускло-белое. И в этом-то и таится весь ужас положения, ибо обшарпана она ровно настолько, чтобы казаться не старой и брошенной, а благородно уставшей, будто пережила три поколения хозяев и всех троих находила скучноватыми.

Откинешь крышку, а изнутри вдруг бьет мягкий розовый свет, и откуда он там берется, я, хоть убей, не разумею. Механизму подобное сияние решительно ни к чему. Но кому же нынче есть дело до того, что к чему-то нужно? Посреди этого свечения стоит крохотная фигурка танцовщицы, одна ножка кокетливо отведена, ручки вскинута над головою, и она кружится, кружится под свою тоненькую, чуть расстроенную и оттого совершенно погребальную музыку вечно, покуда заведена, безо всякой цели и без малейшего проку. А как заводить ее перестанешь, так и она замирает, словно ей тоже все это порядком наскучило.

Хранить в такой шкатулке, само собою, решительно нечего, разве что ключ. Да вон он, огромный и ржавый, лежит подле нее с таким видом, будто отпирает не эту сахарную безделицу, а темницу, где томится узник поважнее меня, и запереть в ней при всем желании нечего... Кроме разве собственного здравого смысла, который в ее присутствии все одно куда-то улетучивается.

Средства у меня есть, и вот это-то и есть самое невыносимое в моем положении! Ибо будь я бедна, я спала бы спокойно и о шкатулке не помышляла. Домашние мои уже нарекли ее «розовой глупостью» и глядят на меня с той усталой жалостью, с какою глядят на человека пропащего. И я нахожу их приговор до того справедливым, что решительно намерена купить ее одному лишь ему в опровержение. Признайся же и ты, друг мой, нет ли и у тебя такой сияющей и совершенно бесполезной вещицы, без которой всякая разумная жизнь вдруг делается пресною до отвращения?

Денница

Он тянет руку вверх, к небу, откуда его вышвырнули, только небо давно не небо, а стена, с которой в сотый раз содрали побелку и не стали класть новую, глухая известка, без окна, без трещины, и в нее он и целит раскрытой ладонью. Поддеть бы ногтем, отогнуть край и стянуть эту серую тряпку обратно вниз, к себе, в яму между камнями, где он стоит по щиколотку в остывшей золе, что горела когда-то на нем самом. Один пепел лежит ровно, серый на сером, ни ветра, чтобы сдвинуть его с места, ни следа, чтобы разбить эту сплошную ровность, и в целом мире, во всей выгоревшей тишине, что растеклась от ямы до самой известковой стены, нет ничего темного, кроме его собственной тени, которая ложится под ноги косым пятном и напоминает, что тут еще кто-то стоит, дышит и держится на ногах. Он ждет, а небо молчит, как молчало и раньше.

И они радовались

Свечей нажгли без счета, и от них воздух под плафоном сделался густой, стоячий, как стоит вода в заросшем пруду, куда не заходит течение, и по этой воде поверху идет та радужная пленка, что оставляет по себе гниль. В таком вот застойном, желтом от воска воздухе и плавал сладкий тяжелый дух. Сверху слышались духи, помада, пудра, под ними, если потянуть носом глубже, пот, а еще ниже, из-под всего, лезло то, чему на балу взяться было неоткуда... тонкая, оседающая на язык нота тлена, будто там, за расписными панелями, за золочеными пилястрами, лежало что-то, о чем тут сговорились не вспоминать.

Играли менюэт.

Скрипки вели его ровно, ни разу не сбившись, и вот эта самая ровность и была не людски. Так не человек играет, а заведенный механизм, музыкальная шкатулка со стершимися зубчиками. Мелодия шла, кланялась, приходила обратно к себе самой и начиналась снова, и не кончалась, и, чуялось, кончиться уже не могла. Оттого у всякого, кто в нее вслушивался, начинало тянуть под ребрами тем холодком, что приходит еще не со страхом, а перед ним.

Они танцевали.

Их было много, не сосчитать. Пары сходились и расходились по наборному паркету, выложенному черной и белой звездой, и звезда эта под их скользящими подошвами двоилась, дробилась, уводила глаз в ложную глубину, потому что зеркала по стенам множили и танцующих, и свечи, и золото, отбрасывая все это вглубь, где та же зала повторялась еще раз, и еще, все бледнее, все дальше. И не разобрать было, где кончаются живые и начинаются их отражения.

У них не было имен.

Никто не называл друг друга ни шепотом за веером, ни в поклоне, ни когда кавалер подавал даме затянутую в белую перчатку руку. Они сходились молча, как сходятся не люди, а те фигуры на башенных часах, что выкатываются в положенный час из-под циферблата. Кланяются один другому и уезжают обратно во тьму. И оттого, что имен не было, не было и лиц. То есть лица-то были, набеленные свинцом до ровной, неживой светлоты, с нарумяненными пятнами на скулах и с черной шелковой мушкой у губы, но под этой белизной, задержи взгляд дольше положенного, проступало другое.

Проступала кость.

У той, что кружилась ближе всех, в роброне цвета старого золота, под слоем пудры на щеке легла тень. Нет, не тень даже, а провал, как проваливается щека у того, кто давно не ел и уже не будет. И белила лежали на этом провале ровно, старательно, забивая его. Кавалер ее улыбался, улыбался во весь рот, и зубы у него в желтом свете были длинны и обнажены сверх меры, так что улыбка эта делалась не улыбкой, а оскалом, какой остается на лице, с которого сошло уже все, кроме натянутой на череп кожи. Он смеялся, запрокидывая голову и от смеха ходил под тонкой кожей кадык, и весь он ходил, будто пустой внутри, будто костяк, обряженный в шитый серебром кафтан и приведенный в движение чужой, заводной волей.

И они радовались.

Вот что было страшнее всего. Не тлен, не кость под пудрой, не музыка, что не умела кончиться, а именно эта их радость, ровная, немолчная, разлитая по всей зале, как разлит был по ней восковой чад. Они смеялись, и веера трепетали, и головы в буклях склонялись одна к другой в наигранном секрете, и кто-то у дальней стены хохотал так звонко, так самозабвенно, что смех этот перекрывал скрипки. И не было в этом смехе ни капли того, что делает смех человеческим, ни тепла, ни горла, из которого он идет, а был один сухой, дробный звук, с каким пересыпаются в шкатулке кости, если ее встряхнуть.

Они кружились по всей зале. Не люди. Нет, тут уж не ошибиться было, что не люди, а тени. Тени тех, кто когда-то, может статься, и был живым и танцевал вот здесь же, в этой самой зале, при этих самых свечах. Умер, и не заметил, что умер, и продолжал кланяться, и сходиться, и расходиться, потому что музыка не отпускала, потому что менуэт не имел конца. Пудра осыпалась с их плеч и оседала на паркет. Мерешилось уже, что это не пудра, а то, во что обращается все, чему пришел срок, что зала эта медленно, из вечера в вечер, осыпается сама в себя, что танцующие вытирают об этот прах свои шелковые туфли и не знают, что вытирают.

Штырь

Штырь был собран из сломанной бельевой прищепки, из катушки без ниток и из обмылка синей изоленты, которую она таскала из отцовского ящика с инструментами, и вещь он быть перестал в тот день, когда девочка первый раз подышала на него в кулаке и подождала. В семь лет граница тонкая, ее продавливаешь молчанием, и любая дрянь начинает отвечать.

Жил он за плинтусом, где обои отходили от стены вздутым пузырем. Там тянуло сырой известкой и мышами, и днем был только сор да серые катышки, а ночью, если стукнуть ногтем три раза и не дышать, в глубине шуршало, и шуршало больше, чем могла вместить щель.

Секрет весил тяжелее самой девочки. Она спалила марки, отцовские, дедовы еще, два толстых альбома с мутными слюдяными кармашками, корабли какие-то, летчики, одна с трещиной через все поле, которую отец брал не рукой, а пинцетом и держал против голой лампы, щурясь, и делался в ту минуту тихим. Ее, с трещиной, она и обронила на спираль обогревателя, а когда та вспыхнула и скрутилась в черный ноготь, столкнула туда весь угол листа, чтобы вышло само, замкнуло, кто виноват. Лист съежился, почернел, и гарью несло из комнаты три дня, форточка не брала.

Отец искал молча, не кричал, а ходил, приподнимал край дивана, заглядывал за шкаф и спрашивал стертым ровным голосом, спит ли она. От этой ровности было хуже, чем от ремня, потому что ремень кончается, а это откладывается на потом и копится в стенах.

Штырь пообещал взять отца на себя. Он вставал в устье щели, кривой, дерганный, весь из проволоки, и говорил не голосом, а прямо ей в затылок, минуя уши, что если отец наклонится ночью над кроватью проверить, спит она или притворяется. Он кинется в лицо, вцепится в глаз и не отпустит, и тогда не будет ни пинцета, ни лампы, ни этого голоса. Обещал заново каждую ночь, потому что к утру договор истекал. Три стука, не дышать, ждать шороха.

И отец приходил. Пахло табаком и едкой мазью для поясницы, он наклонялся низко, в груди у него с присвистом ходил воздух. Он слушал ее поддельное сонное дыхание и уходил, а Штырь молчал, вжавшись в известь, не кидался, ничего. Утром на ее немой упрек он отвечал только, что рано, что не тот случай, а как надо не объяснял, и в этом уклончивом молчании проволоочной твари было что-то отцовское, до тошноты знакомое.

А виноватого так и не нашли, потому что искать было некого. И это она поняла окончательно в тот вечер, когда отец сел на кухне с пустым альбомом и стал водить пальцем по опустевшим слюдяным кармашкам, один за другим, медленно, без всякой злости, будто вычитывал по голой слюде то, чего под ней давно не было, ни кораблей, ни летчиков, ни той, с трещиной через все поле. И молчание его в ту минуту оказалось хуже и прищепки, и щели за плинтусом, и всех трех дней нисходившей гари. Потому что Штыря она могла позвать тремя стуками и спихнуть на него весь свой страх, а вот это, сидящее на кухне спиной к ней и перебирающее пустоту, не звалось никаким стуком и не бралось на себя никакой проволоочной тварью. Оно просто было и копилось в ней так же, как его голос копился в стенах. Прищепку она выбросила сама, в ту же ночь, сунула на дно ведра под картофельные очистки, руками, поглубже, чтоб уже не выудить, а после, лежа в темноте, все-таки стукнула ногтем три раза, по старой привычке, не веря и самой себе. И не зашуршало, и на следующую ночь не зашуршало, а потом, сколько ни стучала, там оставалась одна сырая известь да, наверное, мертвая мышь, забравшаяся куда-то в самую глубину стены, которую так и не достали. И она гнила там до самых холодов, подмешивая свой сладковатый смрад к старой гари, которую отец, проходя мимо, иногда еще ловил ноздрями для себя, уже ни о чем ее не спрашивая.

Дар

Заказчик приехал к полудню, в карете с гербом на дверце, и в мастерскую внёс с собой холод и не тот, что стоял тут до его прихода, а другой, дорогой, надушенный, в лиловом кафтане цвета палой сливы, с тростью, набалдашник которой стоил больше, чем художник выручал за целый портрет. Он прошёл вдоль стены, где на подрамниках сохли готовые холсты, заложив руки за спину и не касаясь ничего, и остановился у той нимфы, что мастер писал третий месяц. Долго смотрел, поджав нижнюю губу. Потом обронил, что художнику, конечно, повезло с даром, редкая милость, иным вон сколько ни бейся.

Мастер вытер кисть о полу фартука и промолчал. Отвечать было нечем. Такие приходят с готовым решением ещё на пороге, они не слушают, а подтверждают то, что уже про себя порешили, и слово «дар» произносят так, будто снимают его, готовое, с гвоздя.

Дар.

Пусть бы этот в лиловом взял хоть раз в руки шпатель. Пусть растёр бы свинцовые белила с ореховым маслом, надышался бы этой сладковатой отравой, от которой к вечеру ломит виски и слюна во рту делается металлической. Свинец копится в теле годами, тихо. Его старый учитель под конец не мог поднести ложку ко рту, руки ходили ходуном, и умер он не от старости, а от красок, которыми кормил чужие стены и чужое тщеславие. Пусть бы этот посидел, как сидел мастер первые семь зим, в мансарде без печи, растирая пигмент окоченевшими пальцами при одной свече, потому что на две не хватало. Свеча коптила, и от копоти на белилах ложилась серая тень, которую наутро приходилось соскабливать ножом вместе с работой целого дня.

Розовое тело нимфы. Он не знал, гость этот, сколько раз оно выходило мёртвым, глиняным, восковым, налитым не кровью, а салом, как плоть на холсте не желала быть плотью, как свет ложился плоско, как грязнились тени. Мастер записывал одно и то же место по десять раз, соскабливал до грунта, начинал заново, пока подушечки пальцев не стёрлись до того, что перестали чувствовать зерно холста. Первые заказчики отказывались от работ, не заплатив. Один пустил слух, будто у художника рука дрожит с перепою,

и полгода после этого не было ни единого заказа, а мастер закладывал кисти, продавал книги по одной, ел раз в день и раз в день ходил в церковь, но не молиться, а греться, потому что там топили.

А этот стоял перед ним в лиловом кафтане, чистый, надушенный, стоял и говорил про везение так легко, будто называл погоду, будто одним этим словом можно было закрыть семь голодных зим и больше к ним не возвращаться.

Свет тем временем уже уходил, как уходил каждый день, не считаясь ни с работой, ни с усталостью человека перед мольбертом. Он сползал с северного окна медленно, почти незаметно, оставляя наверху тусклое стекло, потом вытягивался по половицам к южной стене, желтел, делался рыхлым и лживым, ложился на банки с загустевшей олифой, на кисти, засохшие в глиняной кринке жёстким слипшимся пучком, на палитру, которую мастер по вечерам скоблил ножом, снимая вместе с краской тонкие завитки дерева. Эту косую полосу он знал лучше собственного лица, потому что лицо менялось медленнее и лгало привычнее, а свет каждый день безошибочно показывал, сколько осталось. Пока край его не добрался до ножки табурета, ещё можно было работать, а когда переползал середину пола, следовало отложить кисть, сколько бы ни оставалось несделанного, потому что дальше теплела плоть, мягчели проваленные тени и даже неудача начинала казаться терпимой, а утром всё возвращалось к своему настоящему виду.

Гость проследил за его взглядом, увидел там, должно быть, только пыльное стекло да желтую полосу на половицах, и зевнул в кружевную манжету, прикрыл рот с рассеянной учтивостью, и не мог он знать, да и не стал бы знать, будь у него охота, что самое злое в этом

«повезло» даже не несправедливость его, а та легкость, с какой оно вырезает человека из прожитых им лет и оставляет один результат, гладкий, годный для чужой гостиной, и все прочее будто и не было. Мастер вслух не спорил, потому что давно понял вещь простую до обидного... Тот, кто говорит другому «тебе повезло», на самом деле про себя говорит, и говорит вот что, я не начинал, потому что боялся не выйдет, и придумал везение, чтобы объяснить себе, отчего у меня в руках только эта трость да этот кафтан и больше ничего, чего нельзя купить, а если чужое умение всего лишь случай, то и моя пустота не моя вина, и делать ничего не надо, и жить можно спокойно. Мысль эта пришла к мастеру не вдруг и не в этот полдень, она вызревала в нем те же семь зим, заодно с трещинами на костяшках, и теперь лежала на дне ровно и тяжело, как оседает осадок в давно початой олифе.

Заказчик расплатился, велел завернуть нимфу в холстину и уехал в карете, оставив на полу мастерской грязь с сапог и запах своих духов, тяжёлый, приторный, державшийся в комнате до самой ночи и мешавшийся с запахом масла и скипидара. Мастер отворил окно, выпустил дух чужого тщеславия и вернулся к мольберту.

На новом холсте лежал один грунт да первый угольный контур. И предстояло опять всё то же, растирать свинец, дышать отравой, соскабливать неудавшееся, начинать сначала. И он взялся за это, потому что цена работы измеряется не в монетах, которые за неё дают, а в том, что она уже забрала из тела и заберёт ещё, и эту цену не сделает меньше ни один человек, отказавшийся её видеть.

Косая полоса света доползла до середины пола и там истончилась на щелях между половицами. Мастер обмакнул кисть, снял излишек с край палитры, поднес к холсту и... остановился.

Во дворе, зажато между двумя закопченными стенами, с рассвета бил по известняку каменотес. Стук долота шел через стекло тупыми ударами, врозь, с отяжкой, и мастер давно перестал его слышать, как не слышат собственного дыхания, замечал только провалы, когда тот на минуту отставлял инструмент, чтобы отдышаться, и в этих провалах делалось хуже, чем в самом стуке. К вечеру каменотес уйдет с забитой известью глоткой, с белой пылью под ногтями, которую не берет ни щелок, ни горячая вода, а утром притащится обратно, потому что другого он не умеет и уже не научится.

Придет когда-нибудь и к нему человек в чистом кафтане, поглядит на готовое, на гладко сведенную скулу святого, и обронит про руку, про то, что мастеру повезло.

Каменотес, надо думать, ничего не ответит, а только перехватит рукоять поудобнее, чтобы мокрая от пота ладонь не скользила, и ударит снова, и еще раз...

Художник его из окна не видел, да и не глядел никогда, но про руки эти знал все, что нужно, и большего ему не требовалось, потому что у одного пигмент забился в трещины на костяшках, а у другого известь, и то, что стояло между ними через двор и через стену, не походило на дружбу, и в словах не нуждалось, и было проще всякой дружбы, потому что оба знали одно и то же и знали это телом, что завтра опять придут, хотя нынешний день уже взял с них больше, чем за него заплатят, и что кончится все одинаково, тем самым днем, когда рука перестанет держать, у одного кисть, у другого молоток, и никакого другого конца тут не заготовлено. А тем, в каретах, пусть остается их сказка про дар, снятый готовым с гвоздя, и мастер не ждал, что кто-то из них доглядит до правды, да и не для них писал, а просто клал краску, пока северное окно ее еще показывало, и торопился, потому что свет уже садился к желтизне, и вот-вот сделал бы терпимым то, что утром снова окажется мертвым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.